

Humanitas

Нестор Котляревский

Николай Васильевич
Гоголь.
1829—1842

*Очерк из истории
русской повести
и драмы*



Humanitas

Нестор Котляревский

**Николай Васильевич Гоголь.
1829–1842. Очерк из истории
русской повести и драмы**

«ЦГИ Принт»

2015

УДК 882
ББК 83.3 Р7

Котляревский Н. А.

Николай Васильевич Гоголь. 1829–1842. Очерк из истории русской повести и драмы / Н. А. Котляревский — «ЦГИ Принт», 2015 — (Humanitas)

ISBN 978-5-98712-169-6

Котляревский Нестор Александрович (1863–1925), публицист, литературовед; первый директор Пушкинского дома (с 1910). Его книги – «Очерки новейшей русской литературы. Поэзия гнева и скорби»; «Сочинения К. К. Случевского», «Девятнадцатый век»; «Декабристы», «Старинные портреты», «Канун освобождения», «Холмы Родины», «М. Ю. Лермонтов. Личность поэта и его произведения», «Николай Васильевич Гоголь. 1829–1842. Очерк из истории русской повести и драмы» и др. – в свое время имели большой успех. Несмотря на недооценку им самобытности литературы как искусства слова, для современного читателя его книги представляют интерес. В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.

УДК 882
ББК 83.3 Р7

ISBN 978-5-98712-169-6

© Котляревский Н. А., 2015
© ЦГИ Принт, 2015

Содержание

Предисловие	6
I	11
II	16
III	26
Конец ознакомительного фрагмента.	36

Нестор Котляревский

Николай Васильевич Гоголь. 1829–1842.

Очерк из истории русской повести и драмы

Серия основана в 1999 г.

В подготовке серии принимали участие ведущие специалисты Центра гуманитарных научно-информационных исследований Института научной информации по общественным наукам, Института философии Российской академии наук

© С. Я. Левит, составление серии, 2015

© Центр гуманитарных инициатив, 2015

* * *

Павлу Игнатьевичу Житецкому
Один из многих благодарных воспитанников Коллегии Павла
Галагана

Предисловие

О личности Гоголя и его жизни, о заслугах его перед нашим обществом и о художественной ценности его произведений писано очень много. Все существенное достаточно выяснено, и все-таки тот, кто пожелал бы теперь вновь заговорить о Гоголе, не осужден всецело повторять старое.

Наш очерк не ставит себе целью подробно ознакомить читателя с биографией поэта. Гоголь уже нашел биографа редкой преданности и еще более редкой добросовестности. Кто хочет знать, как жил наш писатель, тот прочтет всю летопись его жизни в многотомном труде В. И. Шенрока¹, и если читателю случится иной раз устать при этом чтении, то он, вероятно, вспомнит, что в жизни каждого человека, даже и очень крупного, всегда бывают скучные моменты и малоинтересные дни. Для В. И. Шенрока при его беспредельной любви к Гоголю все прожитые поэтом дни были полны интереса, и биограф был прав со своей точки зрения. Наш очерк не имеет в виду стать детальным жизнеописанием художника. Внешние условия жизни Гоголя будут приняты нами в расчет лишь постольку, поскольку они прямо или косвенно влияли на его настроение или на образ его мыслей.

Наша работа не ставит себе также главной задачей выяснение художественной стоимости и общественного значения произведений Гоголя. Эта стоимость и значение давно определены. Место, занимаемое комедиями и повестями Гоголя в истории нашей словесности, было верно указано еще его современником Белинским. Оценка, им произведенная, хотя она и касалась преимущественно эстетической ценности созданий Гоголя, достаточно ясно намекала и на их общественную роль. Это общественное значение творчества Гоголя в связи с его значением художественным служило затем неоднократно предметом исследования. После Чернышевского, Аполлона Григорьева, А. Н. Пыпина и Алексея Н. Веселовского едва ли можно сказать что-либо новое по этому вопросу. Все знают, как вместе с Пушкиным Гоголь разделяет славу истинно народного художника, первого истинного реалиста в искусстве. Никто не станет теперь преувеличивать гражданских заслуг Гоголя и, с другой стороны, никто не просмотрит того решительного влияния, какое слова Гоголя оказали на наше самосознание.

Так же точно едва ли есть необходимость пересматривать вновь историю самого процесса художественной работы Гоголя – историю его «приемов мастерства». Примечания Н. С. Тихонова к его классическому изданию сочинений нашего автора навсегда освободили историков литературы от труда над таким пересмотром.

Если признать, таким образом, что и биография поэта, и художественная и общественная стоимость его произведений, и, наконец, самые приемы его работы достаточно выяснены и описаны, то на долю исследователя, не желающего ограничиться лишь повторением, выпадает пересмотр двух до сих пор недостаточно разработанных вопросов.

Надлежит, во-первых, восстановить с возможной полнотой историю психических движений этой загадочной души художника и, во-вторых, исследовать более подробно ту взаимную связь, которая объединяет творчество Гоголя с творчеством предшествовавших и современных ему писателей.

Из этих двух задач первая не допускает полного решения. Гоголь унес с собой в могилу тайну своей души, этой загадочной души, психические движения которой были так сложны и так поражали современников. Внутренние мучения этого страждущего духа, разрешившиеся настоящей душевной болезнью, навсегда останутся полуобъяснимой загадкой. Исследователь принужден ограничиться лишь догадками – попыткой восстановить последовательную смену

¹ Шенрок В. И. Материалы для биографии Гоголя. В 4 т. М., 1892–1898.

чувств и мыслей писателя по тем отрывочным словам и намекам, какие попадаются в его переписке и на некоторых интимных страницах его произведений.

Что же касается вопроса о том положении, какое занимают произведения Гоголя в ряду современных ему памятников словесного творчества, то решение этой задачи и возможно, и необходимо для правильной оценки литературной и общественной роли нашего писателя.

У Гоголя были помощники – писатели, которые своими трудами прокладывали ему дорогу или вместе с ним трудились над одной задачей и даже более пристально присматривались иногда к некоторым сторонам жизни, на которые наш сатирик не успел обратить должного внимания. Вот эта-то связь творений Гоголя с литературными памятниками его времени и остается пока не вполне выясненной. В старину один лишь Белинский, на глазах которого зрел Гоголь, оценивал его творчество в связи со всеми литературными новинками тогдашнего дня. После Белинского, который так много способствовал укреплению славы Гоголя, – эта слава окончательно заглушила память о всех сподвижниках нашего писателя, и о них забыли. Когда на смену Гоголя пришли его ученики – тогда еще меньше было поводов вспоминать о старом. О нем приходится, однако, теперь вспомнить, и в истории творчества нашего сатирика должно быть отведено место работе тех меньших сил, вместе с которыми ему удалось совершить свое великое дело. Рассказ об этой совместной работе Гоголя и его сподвижников и составит главную задачу нашего очерка. Мы постараемся выяснить, как фантазия русских писателей постепенно сближалась с русской действительностью и как велико было значение слов Гоголя в истории этого сближения жизни и вымысла.

При выполнении этой задачи нам нет нужды считаться со всем, что Гоголем было написано.

Литературная деятельность Гоголя, как известно, приняла в последние годы его жизни совсем особое направление. Художник-бытописатель превратился в моралиста-проповедника. Это превращение подготовлялось издавна, чуть ли не с первых шагов Гоголя на литературном поприще: никакого резкого перелома, никакого кризиса его творчество не испытало, но общий характер его незаметно и постепенно изменился. Наступил момент, когда воплощение жизни в искусстве стало Гоголя интересовать меньше, чем общий религиозно-нравственный смысл этой жизни и его обнаружение на практике общественных явлений. Это случилось приблизительно в середине 40-х годов, когда первая часть «Мертвых душ» была закончена, вторая набросана, первое полное собрание сочинений издано, когда вообще было создано все, что нам оставил Гоголь-художник.

Такое преобладание размышления над непосредственным творчеством в созданиях художника совпало с повышением в самом обществе интереса к разным практическим и теоретическим вопросам общественного характера, которые в конце 40-х годов стали овладевать мыслью наших публицистов и художников.

На долю Гоголя выпала, таким образом, совсем особая роль: в 30-х и в начале 40-х годов его произведения были самыми выдающимися литературными явлениями и вокруг них главным образом закипали всякие литературные споры; в конце 40-х годов тот же Гоголь являлся истолкователем разных общественных вопросов первостепенной важности. Действительно, какой бы строгой критике мы ни подвергали его известную «Переписку с друзьями», мы должны признать, что появление этой книги оказало большое влияние на возбуждение нашей общественной мысли и что сама эта книга была ответом писателя на те вопросы личной и социальной этики, которые тогда назревали, – ответом, исчерпывающим или поверхностным, верным или неверным – это, конечно, вопрос иной.

Таким образом, если в творчестве самого Гоголя и не признавать никаких резких переломов или поворотов, то все-таки история его литературной деятельности допускает деление на две эпохи, из которой одна характеризуется расцветом преимущественно художественного

творчества поэта, а другая – стремлением его осмыслить и понять жизнь исключительно как проблему этическую и религиозную.

Рассмотрение этой попытки художника стать судьей и истолкователем религиозных, нравственных и общественных нужд его эпохи не войдет в пределы нашей работы: оно может составить предмет совсем особого исследования. Мы будем говорить лишь о тех годах деятельности Гоголя, когда он был по преимуществу художник-бытописатель, не чуждый, конечно, тех религиозных, нравственных и общественных идей, разъяснению которых он посвятил последние годы своей жизни.

* * *

В предлагаемой книге читатель неоднократно будет встречаться с одним общеизвестным словом, которое в данном случае требует некоторого пояснения. В историях литературы слова: *романтизм* и *романтическое* давно уже приобрели право гражданства, хотя филологический их смысл не имеет никакого отношения к тем явлениям внутренней и внешней жизни человека, которые этими словами обозначаются. Точного определения эти слова пока еще не получили и вряд ли когда-нибудь получат, так как они удобны именно своей неопределенностью. В нашей книге они будут встречаться часто, почти на всех тех страницах, на которых нам придется говорить о душевной жизни Гоголя и о проявлении этой жизни в его творчестве, а потому пояснение этих слов – если не исчерпывающее, то хоть приблизительноное – напрашивается само собою.

Эти слова можно понимать в смысле общем и более частном. В общем смысле под словом *романтизм* должно разуметь известное душевное настроение – широко распространенное во все века и у всех народов. Люди рождаются романтиками, и это не мешает им расходиться во взглядах на самые существенные вопросы жизни; среди них есть и экзальтированные оптимисты и отчаянные пессимисты, люди определенных религиозных исповеданий и свободно верующие, консерваторы по политическим убеждениям и крайние революционеры, люди самых разнообразных философских убеждений, лишь бы эти убеждения не отрицали сверхчувственных начал жизни, наконец, люди, поклоняющиеся красоте в жизни и в искусстве, весьма различные по своим вкусам и сходные лишь в одном – в признании за искусством преимущественного права не изображать жизнь таковой, какова она есть, а таковой, какою бы они ее хотели видеть, в ее красоте или безобразии...

Романтическое настроение есть в сущности лишь известное характерное *отношение* человека к вопросам жизни и духа, к миру действительности и идеала; оно есть преимущественно тяготение к этому миру идеала, тяготение безотчетное, которое нарушает в человеке нормальное равновесие его ума и чувства, именно в пользу последнего.

Никогда и нигде человек не мог удовлетвориться настоящим, счесть все свои желания исполненными и сказать в гордом самомнении, что он достиг ступени умственного, нравственного и общественного развития, за которую переступить не желает. Духовная природа человека всегда влекла и влечет его к иному миру – миру совершенному, в который он перенес все ему дорогое, все свои высшие понятия о ненарушимой справедливости, неумирающей любви, неизменяющей истине. Этот мир идеала сопровождал человечество по пути его жизни, светил ему в годы мрака, как библейское огненное облако. Всегда и везде этот идеальный мир был человеку и ободрением, и укором; он всегда занимал его ум и фантазию; иногда всецело поглощал его внимание и заставлял забывать о земле, иногда же служил ему главной поддержкой в его упорном земном труде над земной жизнью.

Религия, философия, искусство, все личные, семейные, гражданские чувства должны приближать человека к этому миру и помогать ему в борьбе с тем, что он в этой жизни считает

несовершенством. В совсем особом отношении человека к этим несовершенствам и заключается вся сущность «романтической» натуры.

Каких бы убеждений ни держался романтик, он всегда либо отстает от действительной жизни, либо опережает ее. В нем нет смирения перед неизбежным, перед фактом. Он почти всегда обесценивает реальную жизнь, нередко презирает ее; насилует свое понятие и представление о ней ради своей мечты, часто томится о прошлом, которое идеализирует, и еще чаще живет предвкушением будущего: критическое трезвое отношение к факту не дается ему, потому что этот факт он всегда наблюдает с предвзятой точки зрения, подгоняя его под те общие начала жизни, в которые он уверовал помимо всяких фактов. Свои стремления романтик не привык согласовать с наличным запасом своих сил, и кропотливо работать в границах своих способностей над задачами жизни он почти неспособен; самые труднейшие вопросы кажутся ему легко разрешимыми, и вместе с тем малейшие неудачи, неизбежные в жизни, губельно отзываются на его настроении. Романтик влюблен в то идеальное представление о жизни, какое он себе составил, и потому-то он так трудно уживается с житейскою прозой, неизбежной и для жизни необходимой. Все романтики в основе своего темперамента, характера и ума – мечтатели, и этим определяется их общественная роль: без них мир погряз бы в мелочах, но под их исключительной властью он превратился бы в фантазмагорию.

Таков общий смысл слова «романтизм»; но этим же словом можно пользоваться и в смысле более частном. Им обозначают иногда известные литературные течения конца XVIII и начала XIX века в Европе, т. е. те, в разных странах различные по своему идейному содержанию, но очень сходные по основному характеру литературные течения, в которых все вышеозначенные признаки романтической натуры нашли свое художественное обнаружение и воплощение.

В этих двух смыслах – в общепсихологическом и в историко-литературном – понимаются слова «романтизм» и «романтический» и в нашей книге.

Вся трагедия Гоголя как человека и писателя заключалась в том, что «романтические» порывы его души стали в противоречие с его собственным творчеством. Он был чистокровный романтик со всеми отличительными чертами этого типа: к спокойному отношению к жизни, к трезвому суду над ней он был неспособен; мечта брала в нем всегда перевес над сознанием действительности. Он любил жить в мире воображаемом и ожидаемом, т. е. он либо разукрашал действительность, превращая ее в сказку, либо воображал ее такой, какой она должна была бы быть сообразно с его религиозными и нравственными понятиями. Он страшно тяготился разладом, который возникал между его мечтой, и тем, что он вокруг себя видел, и он никогда не мог смягчить ощущения тоски и томления – здоровой критикой существующего и неизбежного. И он, как все романтики, был влюблен в тот идеал жизни, который он себе составил, и – главное – он считал себя призванным торопить наступление и торжество этого идеала на земле. Он был не только мечтающий романтик, но и борющийся.

И при всей такой романтической организации духа он был одарен удивительным даром, который и составил всю красоту и все несчастье его жизни. Он обладал редкой способностью замечать всю прозаичность, мелочность, всю грязь жизни действительной. Все те прозаические стороны жизни, от которых романтик обыкновенно отворачивается, которых он не замечает или не хочет заметить, все просились на палитру Гоголя и требовали от него воплощения в искусстве. Редко когда природа создавала человека, столь романтического по настроению и такого мастера изображать все неромантическое в жизни. Естественно, что при такой раздвоенности настроения и творчества художник был осужден на страдание и не мог освободиться от тяжелого душевного разлада, который должен был кончиться победой одного какого-нибудь дара: либо способность реально изображать жизнь во всей ее прозе должна была в писателе утишить романтические порывы его сердца, либо, наоборот, это романтическое настроение должно было исказить и подавить его дар правдивого воплощения жизни в искусстве. Так как

Гоголь от рождения, по природе своей, был типичный романтик, то романтическое настроение в конце концов и одержало в нем решительный верх, и его талант художника – бытописателя реальной жизни был осужден на гибель.

Эта трагедия артистической души усложнилась еще и тем обстоятельством, что Гоголю пришлось жить и действовать в эпоху, когда романтическое настроение – столь сильное в Европе и у нас в первые десятилетия XIX века – шло заметно уже на убыль. От мечтаний и надежд, от доверчивого оптимизма или поспешного разочарования наш писатель стал переходить к трезвой критике действительности, к изучению ее во всех ее прозаических деталях. Романтики-мечтатели должны были почувствовать себя чужими при этом повороте общественного интереса и симпатий, и в особенности тяжело пришлось тем, кто, как Гоголь, не только считал себя художником, а думал, что он призван работать непосредственно над нравственным улучшением ближнего. Чем больше в Гоголе разгоралось это желание помочь своим ближним в деле нравственного и общественного воспитания, тем труднее становилось ему как художнику. Дар обличителя житейской прозы казался ему недостаточным для этой высокой цели, а романтическая способность упреждать жизнь в мечтах и жить в просветленном мире не находила для своего обнаружения подходящих слов и образов и становилась все менее и менее современной и нужной для того дела трезвого критического отношения к жизни, которое к концу 40-х годов начинало сказываться на нашем обществе.

Жизнь романтика должна была при таких условиях стать глубокой трагедией, и таковой она, действительно, и стала.

I

Народные черты характера Гоголя. – Его настроение в детстве. – Странности этого настроения. – Школьная жизнь. – Мечты о своем призвании и планы будущего.

Биографию Гоголя принято начинать обыкновенно с описания той природы, среди которой он вырос, и с указания на основные черты характера той народности, из среды которой он вышел.

Нет сомнения, что Малороссия оказала большое влияние на развитие его характера и его поэтического дарования. Гоголь попал на север лишь на двадцатом году своей жизни – все свое детство и юность прожил он в южной усадьбе и в городе Нежине, где учился.

Есть какая-то затаенная грусть в малороссийской природе; в ней нет ни строгости, ни энергичного величия природы северной, ни жгучей, страстной красоты настоящего юга; ее красота по преимуществу томная, мечтательная, как греза без ясных очертаний и сильного движения. Народ, живущий издавна среди этой природы, одарен и соответствующими чертами характера – идиллическим настроением души, переходящим иногда в волевою слабость, грустной мечтательностью, которая всегда спорит с весельем, и живой, но не грандиозной фантазией. Природа наделила малорусский народ, кроме того, особым даром – юмором, столь типичным для всех, даже скромных представителей этой национальности. Трудно определить точно, в чем этот дар заключается; иногда это просто комическая жилка – способность оттенить в предмете или в вопросе его смешную сторону, чтобы позабавиться – так, для невинной потехи; иногда это – своеобразный взгляд на вещи, ищущий в насмешке противовеса грусти и ограждающий себя смехом от слишком печальных выводов и размышлений.

Все эти народные черты характера сохраняли свою власть и над жизнью и творчеством Гоголя. Сентиментальное романтическое сердце, любящее нежиться в грусти, и острый, насмешливый ум – вот те две силы, которые в нем никак не могли ужиться. Сердце было всегда лирически настроено и на земле тосковало по туманному идеальному миру, ум всегда был трезв и обладал удивительной способностью замечать именно в этой земной жизни все ее несовершенства, ее неизбежную ложь, грязь и пошлость. Трудно было жить с такими дарами духа, и Гоголь заплатил за них своим душевным покоем и счастьем.

Но еще задолго до того времени, когда зоркость художественного взгляда и лиризм сердца стали так враждовать между собой – еще в ранние школьные годы, Гоголь сроднился с тревогою духа.

Какая-то неотвязная мысль, весьма, впрочем, неопределенная, но мысль во всяком случае серьезная и грустная, шла рука об руку с тем весельем и той резвостью, какие, судя по воспоминаниям товарищей, проявлял этот хитрый мальчик. А он был хитер, скрытен и себе на уме, и таковым остался всю жизнь, к немалому огорчению лиц, которые думали, что в душе этого человека могли читать, как в своей собственной.

Когда позднее серьезная сторона жизни приобрела в его глазах гораздо большую цену, чем сторона веселая, когда задумчивость и грусть поколебали совсем его духовное равновесие – трагедия его души может быть объяснена трудностью того положения, какое занял он – художник на ответственном посту – перед лицом родины, которая, как он был убежден, ждала от него прорицаний. Но любопытно, что еще в детстве у него были проблески этого сознания ответственности и сознания своей силы; любопытно, что уже в его детских интимных речах

можно подметить в зародыше ту самую мысль, которая его позднее так мучила, – мысль о том, что на него возложена какая-то великая миссия.

Людам нередко в детском возрасте приходится считаться с ударами судьбы. Эти удары на разных людей разное действуют: иного закаляют и делают жизнеупорнее, иного расслабляют и заставляют теряться перед минутой – следствием чего почти всегда бывает осадок меланхолии и печали в сердце человека. Гоголю не пришлось испытать таких ударов в детстве – и не они виноваты в его ранней грусти.

В семье царили любовь и согласие. Ребенок рос в довольстве, воспитывался, как настоящий помещичий сынок, и был очень избалован. Шалил, рассказывают, также много. Счастливым условием этой детской жизни был и общий интеллигентный уровень всех тех лиц, которые окружали ребенка. И семья Гоголя, и ее знакомые были люди, которым интересы умственные и литературные не были чужды. Отец поэта, как известно, был автором нескольких игривых комедий. Особого влияния он, впрочем, на сына не оказал, так как умер очень рано. Если кто влиял непосредственно на ребенка, так это его мать – женщина очень религиозная. Ее влияние сказалось, по всем вероятностям, на том повышенном религиозном чувстве, которое всегда, с юных лет, было живо в душе ее сына. Она же, вероятно, более других и избаловала его. За эти-то попечения много лет спустя ей и пришлось выслушать от сына нижеследующее наставление: «Я очень хорошо помню, – писал он матери в 1833 году, – как меня воспитывали. Вы употребляли все усилие воспитать меня как можно лучше. Но, к несчастью, родители редко бывают хорошими воспитателями детей своих. Вы были тогда еще молоды, в первый раз имели детей, в первый раз имели с ними обращение, и так могли ли вы знать, как именно должно приступить, что именно нужно? Я помню: я ничего сильно не чувствовал, я глядел на все как на вещи, созданные для того, чтобы угождать мне. Никого особенно не любил, выключая только вас, и то только потому, что сама натура вдохнула эти чувства»².

Иногда школа исправляет ошибки семьи и излишнее баловство в семье находит себе поправку в школьной дисциплине. Школа кое-чему научила и Гоголя, но только отнюдь не дисциплине. На тринадцатом году он был отдан в Нежинский лицей, и веселая жизнь в усадьбе сменилась не менее веселой жизнью в коридорах училища, в его саду и в окрестностях маленького провинциального городка, где, вероятно, все жители знали друг друга по имени и, наверное, знали по имени и нашего студента, который много проказничал.

По свидетельству товарищей, Гоголь особенным прилежанием в школе не отличался; он вынес из аудитории мало знаний, и вина в данном случае едва ли падает на учителей, которые, впрочем, также особенными талантами не блистали. Нежин оказал влияние только на общее развитие юноши, умственный кругозор которого расширялся в среде талантливых товарищей. Но над этим расширением, кажется, больше других работал он сам – кое-что он почитывал, а главное – наблюдал; общение с весьма разнообразными классами общества, начиная с лицейского начальства, кончая крестьянами городских предместий, куда он часто заглядывал, давало немало пищи его остроумию и фантазии. Яркий след этой изоцряющейся наблюдательности остался на его уцелевших литературных школьных опытах и, вероятно, этот след был еще более заметен на тех его сатирах и памфлетах, которые он писал также в школе и которые, к сожалению, утратились. Много интересовался Гоголь в эти юношеские годы и театром: он ставил пьесы и сам играл и, говорят, с большим успехом. Но всего более он в эти годы думал, думал о самых различных и иногда очень серьезных вопросах, и они-то и были источником его грусти.

Стоит только перелистать школьную переписку Гоголя, чтобы увидеть, какая перед нами сложная психическая организация. Эта юношеская переписка необычайно важна для характеристики всего склада его души. Ознакомимся же с этими ранними признаниями, в которых мы без труда узнаем совсем еще юного «искателя правды», т. е. члена той у нас довольно

² Письма Н. В. Гоголя. Под ред. В. И. Шенрока. СПб., 1901. Т. I., с. 260.

распространенной семьи моралистов от рождения, для которых жизнь – ряд поводов терзать свою душу разными трудными вопросами. Действительно, в ранних письмах Гоголя перед нами длинная вереница таких серьезных размышлений, иногда изложенных в удивительно вычурном, патетическом тоне, который звучит подчас неискренне и неприятно. Но такое вычурное патетическое выражение бывает нередко прямым следствием повышенной очень искреннего чувства, слишком еще интенсивного и потому не способного из нескольких выражений выбрать себе наиболее подходящее; и у Гоголя, как известно, эта вычурность языка всегда проступала наружу, когда он говорил о чем-нибудь сердцу его наиболее дорогим и близким.

Одна мысль в его детских письмах останавливает на себе преимущественно наше внимание. Это мысль о том, что я – странная натура, иначе, чем другие, созданная, чувствующая и думающая иначе; куда идти мне и какой избрать род деятельности, соответствующий той силе, какую я в себе чувствую?

Как видим, это та же самая мысль, с которой Гоголь лег в могилу.

Гоголь еще в самую раннюю пору жизни произвел себя в какую-то загадочную натуру и как будто гордился этим: он почему-то думал, что уже успел испытать от житейской печали и скорби, что вообще его отношение к жизни совсем иное, чем у других людей его возраста. На обыкновенном школьном языке такое состояние духа иногда называют «ломаньем», но если доля такого «лома» и была в ранней исповеди Гоголя, то в целом эта исповедь все-таки была правдива: что-то необычное и пока неизъяснимое сознавал в себе этот странный юноша.

Вот что он пишет матери накануне выхода из школы: «Я больше испытал горя и нужд, нежели вы думаете; я нарочно старался у вас всегда, когда бывал дома, показывать рассеянность, своенравие и проч., чтобы вы думали, что я мало обтерся, что мало был принижаем злом. Но вряд ли кто вынес столько неблагодарностей, несправедливостей, глупых, смешных притязаний, холодного презрения и проч. Все выносил я без упреков, без роптания, никто не слышал моих жалоб, я даже всегда хвалил виновников моего горя. Правда, я почитаюсь загадкою для всех; никто не разгадал меня совершенно. У вас почитают меня своенравным, каким-то несносным педантом, думающим, что он умнее всех, что он создан на другой лад от людей. Вы меня называете мечтателем, опрометчивым... Нет, я слишком много знаю людей, чтобы быть мечтателем. Уроки, которые я от них получил, останутся навеки неизгладимыми, и они – верная порука моего счастья»³.

Читая это письмо, бедная Мария Ивановна, вероятно, верила каждому слову своего сына, тем более, что и раньше он в своих письмах говорил ей приблизительно то же, только не все сразу, как он это сделал в этом признании. Мы можем быть более строги и можем заподозрить в этих словах преувеличение, которое тем не менее весьма характерно. Преувеличивать Гоголь любил и позднее: ему всегда казалось, что жизнь на него смотрит гораздо более страшными глазами, чем это было на самом деле; но эти ранние жалобы на одиночество, на неловкое, трудное, страдательное положение среди людей – показатели хоть и неопределенного, но все-таки весьма задумчивого отношения юноши к тому, мимо чего мы обыкновенно в юности проходим, т. е. к общему смыслу жизни, который для большинства теряется за раздробленными впечатлениями отдельных минут и частных будничных столкновений.

Иногда в итоге такого обобщения житейских встреч и явлений получался у нашего мечтателя вызывающий и презрительный отзыв о людях. В письме к одному приятелю Гоголь в таких словах говорил о своей лицейской жизни: «Как чувствительно приближение выпуска, а с ним и благодетельной свободы: не знаю, как-то на следующий год я перенесу это время! (Речь идет об экзаменах)... Как тяжело быть зарыту вместе с созданиями низкой неизвестности в безмолвие мертвое! Ты знаешь всех наших существователей, всех, населивших Нежин. Они задавили корою своей земности, ничтожного самодовольствия высокое назначение человека.

³ Письма Н. В. Гоголя. Т. I, с. 97–98.

И между этими существователями я должен пресмыкаться... из них не исключаются и дорогие наставники наши. Только между товарищами, и то немногими, нахожу иногда, кому бы сказать что-нибудь. Ты теперь в зеркале видишь меня. Пожалей обо мне! Может быть, слеза соучастия, отдавшаяся на твоих глазах, послышится и мне»⁴. Все это очень риторично и некрасиво высказано. Но во всей этой тираде и тому подобных, которых в письмах Гоголя немало, есть и нечто истинное и искреннее; это – неясное пока чувство своего превосходства, чувство, ничем еще не оправданное и потому лишь патетически высказанное и взвинченное. Ставить юноше в упрек это раннее самомнение, это подчеркивание своего отличия от всех остальных людей, это кокетничанье своей загадочностью – можно, но надо помнить, что этот порок вытекал, бессознательно для самого Гоголя, из бесспорного превосходства его ума и чувства, в котором он не давал себе пока ясного отчета.

Такое же неопределенное честолюбие и плохо скрытая гордыня видны и в его мечтаниях о своем будущем, мечтаниях, которым он часто отдавался в школе и которые поверял охотно своей матери. Это темное предчувствие славы в грядущем, уверенность в великом подвиге, который его ожидает, – явления довольно обычные в юношеской жизни людей крупных. Они не должны удивлять нас и в Гоголе. Однако в этих мечтах нашего лицеиста о будущей своей славе есть нечто опять-таки очень своеобразное.

В 1826 году, в веселую и добрую минуту он пишет матери: «Вы знаете, какой я охотник до всего радостного. Вы одни только видели, что под видом, иногда для других холодным, угрюмым, таилось кипучее желание веселости (разумеется, не буйной) и часто в часы задумчивости, когда другим казался я печальным, когда они видели или хотели видеть во мне признаки сентиментальной мечтательности, я разгадывал науку веселой, счастливой жизни, удивлялся, как люди, жадные счастья, немедленно убегают его, встретившись с ним. Ежели о чем я теперь думаю, так это все о будущей жизни моей. Во сне и наяву мне грезится Петербург, с ним вместе и служба государству. До сих пор я был счастлив, но ежели счастье состоит в том, чтобы быть довольну своим состоянием, то не совсем, – не совсем до вступления в службу, до приобретения, можно сказать, собственного постоянного места»⁵.

В другую, печальную минуту, вспоминая своего покойного отца, он пишет матери: «Сладостно мне быть с ним (т. е. с образом усопшего), я заглядываю в него, т. е. в себя, как в сердце друга, испытую свои силы для поднятия труда важного, благородного на пользу отечества, для счастья граждан, для блага жизни подобных, и, дотоле нерешительный, неуверенный (и справедливо) в себе, я вспыхиваю огнем гордого самосознания... Через год вступаю я в службу государственную»⁶.

«Как угодно почитайте меня, но только с настоящего моего поприща вы узнаете настоящий мой характер, – пишет он матери, уже прощаясь с Нежином. – Верьте только, что всегда чувства благородные наполняют меня, что никогда не унижался я в душе и что я всю жизнь свою обрек благу... Вы увидите, что со временем за все худые дела людей я буду в состоянии заплатить благодеяниями, потому что зло их мне обратилось в добро»⁷.

Итак, скорей в Петербург. «Уже ставлю мысленно себя в Петербурге, – мечтал он, – в той веселой комнатке, окнами на Неву, так, как я всегда думал найти себе такое место. Не знаю, сбудутся ли мои предположения, буду ли я точно живать в таком райском месте или неумолимое веретено судьбы зашвырнет меня с толпою самодовольной черни (мысль ужасная!) в самую глушь ничтожности, отведет мне черную квартиру неизвестности в мире!»⁸ Читая все эти

⁴ Письма Н. В. Гоголя. Т. I, с. 75.

⁵ Письма Н. В. Гоголя. Т. I, с. 58, 59.

⁶ Письма Н. В. Гоголя. Т. I, с. 68.

⁷ Письма Н. В. Гоголя. Т. I, с. 98.

⁸ Письма Н. В. Гоголя. Т. I, с. 78.

размышления о предстоящем подвиге на благо людей и эти постоянные вздохи о Петербурге и службе, трудно отдать себе ясный отчет в том, что именно в данном случае так разжигало фантазию Гоголя. Было ли это в самом деле высокое честолюбие, унаследованное от предков, как утверждает один биограф?⁹ Едва ли. Вернее предположить, что столь популярное тогда слово «служба» и слово «служение» совпадали в мечтах Гоголя о своем будущем. Действительно, наш художник всю жизнь признавал себя «служителем» общественного блага, и даже тогда, когда от всяких честолюбивых планов пришлось отказаться, он не переставал смотреть на свою писательскую деятельность как на «службу» государству и раздавал направо и налево советы государственной мудрости. Так и в юные годы слилось у него представление о службе в Петербурге с представлением о служении на благо ближнего.

Но самое поразительное в этих мечтах юноши – это полное молчание о писательской карьере: Гоголь настойчиво говорит о своем желании принести людям пользу, облагодетельствовать их, и кроме «службы» он не видит иного пути для достижения этой цели; он как будто не желал заметить, что в его распоряжении находится совсем особый дар для служения людям. Нельзя, однако, предполагать, что он совсем не сознавал в себе этого дара, и потому-то молчание о нем так странно. У писателей замечается обыкновенно еще в детстве большое пристрастие и большое доверие к будущему своему излюбленному делу: они детьми о нем мечтают. Гоголь в данном случае составлял исключение. Насколько позднее он высоко ценил свою писательскую деятельность, считая ее боговдохновенным пророчеством, настолько небрежно относился он к ней в ранней юности и даже, как сейчас увидим, в первые годы своей литературной работы.

А между тем в школе он трудился над своим литературным образованием довольно усердно и сам пописывал немало и охотно.

⁹ Ср. Коялович А. Детство и юность Гоголя. – «Московский сборник» С. Шарапова. М., 1887, с. 224.

II

Литературные опыты в школе. – Неоконченные исторические повести. – Идиллия «Ганц Кюхельgarten». – Ее содержание и биографическое значение. – Туманные идеалы. – Впечатление, произведенное Петербургом. – Неудача с идиллией. – Бегство за границу. – Тревожное состояние духа и успокоение. – Возвращение в Петербург и поступление на службу. – Работа над «Вечерами на хуторе». – Их выход в свет в 1831 и 1832 годах.

Гоголь пробовал свои силы и в стихах, и в прозе, пробовал в разных тонах, и веселых, и грустных, и в различных формах, и лирической, и повествовательной. Писал он сатиры и стихи на случай, наполнял ими издававшиеся в лицее рукописные журналы, написал какую-то трагедию «Разбойники», набросал несколько исторических повестей и много потрудился над идиллией в стихах, которая и была первым его произведением, появившимся в печати. Биограф Гоголя заметил совершенно верно, что в этих юношеских произведениях наш писатель предпочитал высокий стиль низкому и отдавал предпочтение патетическим темам перед комическими¹⁰.

Патетичен был он, когда в Нежине воспевал Италию, когда впервые с чужих слов говорил об этой стране лимонов и мирт, которая впоследствии стала для него второй отчизной. Он воспевал ее в стихах, не совсем гладких и звучных, но зато в мечтах пред ним звучали и лились «октавы» Тассо. Патетично настроен был он, когда писал свой исторический роман «Гетман», в котором рассказывал страшное предание о том, как некий благочестивый дьякон пошел усовершенствовать безбожных ляхов в их гнездо разврата, как его повесили на сосне, как затем посинела эта сосна, подобно мертвецу, как кивала убийце своей всклокоченной бородой, как она сквозь стену его спальни простерла к нему свои колючие ветви, с которых капала на него невинная кровь. И уже в этом романе, от которого сохранилась только одна глава, можно было заметить мастерство приемов Гоголя в описании природы, в реализме диалогов, в умении пользоваться фантастичным и страшным. Патетичен и страшен был наш молодой писатель и в другом своем историческом романе, когда описывал монастырскую темницу, где «целые лоскутья паутины висели темными клоками с земляного свода, где обсыпавшаяся со сводов земля лежала кучами на полу, где на одной из этих куч торчали человеческие кости, где летавшие молниями ящерицы быстро мелькали по ним, где, наконец, сова и летучая мышь были бы красавицами». Ужас возбуждал наш рассказчик в читателе, когда говорил о несчастном пленнике, которого везли, чтобы заключить в эту темницу, пленнике, который весь с ног до головы был увязан ружьями, придавлен пушечным лафетом и привязан толстым канатом к седлу. «Осветить бы месячному лучу хоть на минуту этого несчастного – и он бы (т. е. месяц), верно, блеснул в каплях кровавого пота, катившегося по щекам его! Но месяц не мог видеть лица его, потому что оно было заковано в железную решетку»... Не всегда, впрочем, наш автор писал в таком романтически ужасном стиле. В третьей своей повести «Страшный кабан», уцелевшей также лишь в отрывках, он набросал ряд жанровых картинок из малороссийской жизни, в которых был уже виден автор «Вечеров на хуторе». Здесь была дана меткая, полная юмора характеристика школьного учителя, тщательно вырисованные сценки сельской жизни и рассказана очень

¹⁰ Шенрок В. И. Материалы для биографии Гоголя. Т. I, с. 88.

грациозная, веселая любовная идиллия, которая потом будет так часто попадаться в его мало-российских повестях.

Среди всех этих отрывков и литературных планов «Ганц Кюхельгартен» – идиллия в стихах – представляет наибольший интерес для биографа. В художественном отношении эта идиллия стоит неизмеримо ниже прозаических отрывков из недописанных романов Гоголя, но она имеет совсем иное значение: она документ, важный для определения настроения, в каком находился наш мечтатель в последние годы своей лицейской жизни. Эта странная греза с ее героем из немцев и с обстановкой нерусской была, в сущности, страницей из жизни самого автора, который скрылся под псевдонимом. Гоголь вложил много души в эту сентиментальную повесть, которая причинила ему затем столько огорчений. В ней, бесспорно, были самые свежие воспоминания и намеки на собственные думы и впечатления, что, между прочим, подтверждается сходством некоторых строф этой идиллии с письмами Гоголя последних лет его лицейской жизни. В. И. Шенрок дал убедительные примеры таких совпадений¹¹ и тем самым решил вопрос и об оригинальности «Ганца». Давно было указано на довольно известную идиллию Фосса «Луиза» как на оригинал, который мог служить Гоголю образцом для его «Ганца», – предположение, которое напрашивалось, ввиду общего тона и сентиментального настроения в этих двух памятниках. Сходство это, однако, чисто внешнее, и у Фосса нет и намека на тот тип, который дан в самом Ганце. Но если даже и предположить в данном случае заимствование, то оно ничуть не понижает автобиографического значения этого первого опыта. Западный образец надо в крайнем случае признать не за оригинал, с которого Гоголь списывал, а за предлог, который натолкнул Гоголя на мысль воспользоваться сходной внешней формой для выражения своего внутреннего чувства. Припомним содержание этой юношеской грезы.

Под тенью лип стоит уютный домик пастора... Патриархальную жизнь ведут его обитатели. Старый пастор среди мирной своей семьи как бы предвкушает вечный мир небесных селений, и веселая весенняя природа улыбается ему как вестник вечного света, тепла и радости. Семья его невелика, но зато при нем его Луиза, резвая, свежая, любящая, как ангел-посетитель, озаряющая закат его дней. Все бы обстояло в этой семье благополучно, когда бы только не Ганц. Станный человек этот Ганц! Он, верно, болен. Он обнаруживает все симптомы романтического душевного расстройства. В час полночи, час мечтаний, сидит он за книгой преданий и, перевертывая листы, ловит в ней только немые буквы. Он живет в веках прошлых; очарован чудесной мыслью, сидит он под сумрачной тенью дуба и простирает руки к какой-то тайной тени. Он страдает от прозы жизни, его тянет вдаль, в даль не только пространства, но и времени. Он вздыхает по Древней Греции, по ее свободе, славным делам и прекрасным созданиям искусства.

И Ганц решается бежать, пропев предварительно под окном своей невесты прощальную песню. Гоголь, конечно, читал Байрона, так как недаром, когда Ганц, постояв некоторое время в раздумье, удаляется, окутанный туманом, под вой ветра -

Верный пес как бы в укор
Пролаял звучно на весь двор.

В эту ночь разлуки Луиза видела тяжелый сон; ей приснилось, что она в темной пустыне, что вокруг нее туман и глушь... По примеру Татьяны, которая видела тот же сон, Луиза поспешила найти разгадку своего сновидения и вообще бегства Ганца в его собственном кабинете. Вместе с матерью они начали рыться в его книгах, и романтическая тайна обнаружилась:

Вот входят в комнату они;

¹¹ Шенрок В. И. Материалы для биографии Гоголя. Т. I, с. 159.

Но в ней все пусто. В стороне
Лежит, в густой пыли, том давний,
Платон и Шиллер своенравный.
Петрарка, Тик, Аристофан,
Да позабытый Винкельман.

Подбор книг чрезвычайно любопытный. Это – библиотека, составленная из сочинений лучших выразителей тех поэтических мотивов, которые преобладают в поэзии самого Гоголя. Платон и Шиллер как певцы того мира идей, тоска по которым не покидала нашего писателя во все моменты его жизни; Петрарка как певец неземной любви, влюбленный в воздушный женский образ, которым бредила и разгоряченная фантазия нашего поэта; Аристофан – Гоголь афинской республики; Винкельман – восторженный жрец античной красоты и, наконец, Тик, средневековый Паладин, кудесник, живущий в таком ладу со всем миром привидений.

Целых два года пространствовал Ганц, помышляя о жертвах слепой бренности. Старик тем временем умер, над его могильным холмом шумят смиренно два зеленых явора... А Луиза?., она ходит на его могилу и, опершись лилейной рукой на урну, сидит долго в раздумье. Она в своей томной грусти, как серафим, который тоскует о пагубном падении человека. Она по-прежнему ждет Ганца. Наконец он возвращается. Но кто бы узнал в нем прежнего Ганца? Житейский опыт превратил юношу в старца. Его житейская мудрость свелась к правилу, которое гласило, что если в человеке нет железной воли и сил исполнить великое предназначение, то лучше в скромной тишине протекать по полю жизни, довольствоваться скромной семьей и не внимать шуму света. Так действительно и поступил Ганц, вернувшись к своей Луизе. Тяжкий сон страданий спал с его души, он переродился, живой и спокойный, женись на Луизе... и потекли для нашего Ганца мирные годы счастья.

Ганц – портрет самого Гоголя, конечно, идеализированный, но в основных чертах верный. Тревожное состояние духа, неясность желаний, стремление вдаль, на поиски за чем-то непонятным, недовольство скромной действительностью – все эти приступы романтической болезни испытал на себе очень рано и Гоголь. В одном только идиллии не совпала с жизнью поэта – он не примирился и не пожелал в скромной тишине «протекать по полю жизни» – он всю жизнь тосковал по великому делу и по высокому идеалу; он искал его сначала вокруг себя, потом вдали, наконец в себе самом и, измученный этими поисками, умер.

* * *

Подводя общий итог всем разрозненным намекам, которые мы находим в юношеских письмах Гоголя и в его ранних литературных опытах, мы получаем в высшей степени неясное впечатление о складе его ума и вообще о его настроении. Ясно только одно, что перед нами очень сложная натура, нервная, в которой настроения меняются очень часто, склонная от природы к меланхолии; натура очень гордая и скрытная, с очень высоким мнением о себе и уверенная в том, что она со временем оправдывает это самомнение; натура богато одаренная литературным талантом, с умом резким, саркастическим и насмешливым и с сердцем, полным самого расплывчатого лиризма. Какая на его долю выпадет деятельность, мальчик пока не знает, и только смутное представление о службе государству окрашивает в розовый цвет все его надежды на будущее. С этой службой тесно связано у него понятие вообще о плодотворной деятельности на пользу людей, которые ждут от него чего-то и которых он, очевидно, любит, хотя и самой неясной, чисто сентиментальной мечтательной любовью. В этой любви нет никаких положительных идеалов, на защиту которых она должна быть направлена; все сводится к туманным, но заманчивым словам «добро» и «благо». Ко всем этим чувствам и размышлениям примешивается, кроме того, иногда очень искреннее религиозное настроение и затем некото-

рое ощущение тяготы действительностью: наш мечтатель тоскует по иному порядку жизни, чем тот серый, будничный, среди которого ему приходится вращаться. Это представление об ином порядке жизни не связано опять-таки ни с каким определенным понятием об условиях реального существования, это просто ощущение разлада между мечтой и действительностью, между туманным желаемым и оскорбительно ясным настоящим – разлада, который особенно ощутительно чувствуют натуры мечтательные, сентиментальные или, как их иногда называют, «романтические».

Но вместе с тем, наш мечтатель и философ более чем кто-либо умеет в этой серой действительности найти и оттенить то, что всегда помогает переносить ее однообразие, – а именно ее смешную сторону. Многое весьма серьезное и глубокое угадывает он, этот еще неопытный искатель правды, и, кажется, только одного не подозревает пока, это – своего призвания как художника. И даже позднее, когда придется ему убедиться в силе своего художественного таланта, он и тогда не сумеет оценить его как следует: все ему будет казаться, что этот талант ценен не сам по себе, а лишь теми нравственными истинами, которым он служит.

Такова была эта мятежная душа, когда она сочиняла свою мирную идиллию:

Живого юности стремленья
Так испестрялися мечты.
Порой небесного черты,
Души прекрасной впечатленья,
На нем лежали; но чего,
В волненьях сердца своего,
Искал он думою неясной,
Чего желал, чего хотел,
К чему так пламенно летел
Душой и жадною, и страстной,
Как будто мир желал обнять, —
Того и сам не мог понять.
Ему казалось душно, пыльно
В сей позаброшенной стране;
И сердце билось сильно, сильно
По дальней, дальней стороне.
Тогда когда б вы повидали,
Как воздымалась буйно грудь,
Как взоры гордо трепетали,
Как сердце жаждало прильнуть
К своей мечте, мечте неясной;
Какой в нем пыл кипел прекрасный,
Какая жаркая слеза
Живые наполнила глаза!

(«Ганц Кюхельгартен». Картина V)

В таком восторженно-неясном настроении был наш мечтатель, когда приходили к концу годы его школьной жизни. Тягость этого настроения была им глубоко прочувствована; он ждал избавления и примирения, и оно рисовалось вдали как награда за все его тревоги. Юноша наш рассуждал так:

Благословен тот дивный миг,
Когда в поре самопознанья,

В поре могучих сил своих,
Тот, небом избранный, постиг
Цель высшую существованья;
Когда не грез пустая тень,
Когда не славы блеск мишурный
Его тревожат ночь и день,
Его влекут в мир шумный, бурный;
Но мысль и крепка, и бодра
Его одна объемлет, мучит
Желаньем блага и добра;
Его трудам великим учит.
Для них он жизни не щадит.
Вотще безумно чернь кричит:
Он тверд среди сих живых обломков
И только слышит, как шумит
Благословение потомков.

(«Ганц Кюхельгартен». Картина XVII. Дума)

Благословение потомков слышалось, вероятно, издали и нашему мечтателю, когда, наконец, настал желанный миг и он садился в тарантас, чтобы ехать в Петербург на службу.

В самых радужных цветах рисовалась ему наша северная столица – арена «гражданских» его подвигов... Тем тяжелее и оскорбительнее было разочарование.

На самом деле, ничего особенно грустного и печального с Гоголем в Петербурге не случилось; никакие беды на голову его не упали – произошло самое обыкновенное: холеный ребенок попал в чужой город, где никому до него не было дела и где ни от жизни, ни от людей нельзя было ждать ласки, а Гоголь в ней всегда нуждался.

Заставим его самого рассказать нам о том, чем ему Петербург так не понравился; мы увидим, что главная причина недовольства было именно отсутствие ласки и красоты в его петербургской обстановке и отсутствие вообще подъема духа в этой для него новой, серой и мелкоделовитой жизни. Первый раз молодому фантазеру пришлось испытать на деле разлад мечты и действительности, и на первых порах этот разлад явился перед ним в очень несложном, обычном и пока милостивом своем виде.

«Скажу вам, – пишет он матери, – что Петербург мне показался вовсе не таким, как я думал. Я его воображал гораздо красивее, великолепнее, и слухи, которые распускали другие о нем, также лживы. Жить здесь несравненно дороже, нежели думали. Это заставляет меня жить, как в пустыне: я принужден отказаться от лучшего своего удовольствия – видеть театр. Если я пойду раз, то уже буду ходить часто: а это для меня накладно, т. е. для моего неплотного кармана...»¹².

«Каждая столица вообще характеризуется своим народом, набрасывающим на нее печать национальности, – пишет он в другом письме. – На Петербурге же нет никакого характера: иностранцы, которые поселились сюда, обжились и вовсе не похожи на иностранцев; а русские, в свою очередь, обыностранились и сделались ни тем, ни другим. Тишина в нем необыкновенная, никакой дух не блестит в народе, все служащие да должностные, все толкуют о своих департаментах да коллегиях, все погрязло в трудах, в которых бесплодно издерживается жизнь»¹³.

¹² Письма Н. В. Гоголя. Т. I, с. 115.

¹³ Письма Н. В. Гоголя. Т. I, с. 117.

Очевидно, что взгляд на «службу» у нашего мечтателя несколько изменился, и если Гоголь все-таки продолжал искать этой службы для себя, то это надо объяснять уже не прежним романтическим увлечением «службой» как средством работать на благо людей, а менее сложными соображениями чисто материального свойства.

Кажется, что отчасти эти же соображения побудили Гоголя попытать свое счастье и на ином поприще, чем служебное, а именно, на литературном. Говорим – кажется, потому что прямых указаний на мотивы, которые заставили Гоголя печатать то, что у него накопилось в портфеле, и приступить к новой работе, у нас нет. В письмах он говорит о своих литературных планах неопределенно и недостаточно откровенно. Одно только ясно: в этих письмах совсем не видно увлечения литературной работой, в них нет того уверенного тона, по которому мы могли бы заключить, что эта работа – истинное «дело» Гоголя, его святое призвание. И позднее, в самый разгар работы над «Вечерами на хуторе», он все будет напирать на непосредственную выгоду, которую он может получить от своей работы, и будет очень трезво говорить о том, о чем другой – столь же даровитый художник, как он, – стал бы говорить совсем иначе. Как бы то ни было, но вскоре после приезда в Петербург Гоголь решил напечатать своего «Ганца».

Наш автор едва ли мог ожидать материальных выгод от продажи этой идиллии, но, может быть, он думал, что ее успех облегчит ему вообще дальнейшую его литературную работу. Он выпустил идиллию в свет, однако анонимно. На обложке значилось, что она сочинена В. Аловым, а в предисловии говорилось от лица каких-то мнимых издателей, что автор ее – восемнадцатилетний юноша, что сама идиллия представляет из себя лишь разрозненные отрывки, что главный характер главного героя не дорисован, но что все-таки издатели гордятся тем, что по возможности споспешествовали свету ознакомиться с созданием юного таланта. Как видим, это не совсем скромное предисловие отзывалось несколько рекламой. Но она не спасла идиллии.

«Ганц» был принят критикой враждебно. Сначала «Московский телеграф», а затем «Северная пчела» расправились с ним жестоко – так, по крайней мере, казалось автору, который впал в отчаяние и сам предал казни своего первенца: он отобрал из книжных лавок и сжег почти все экземпляры. Суд был несколько поспешный, тем более что критика, осудив этот юношеский опыт, все-таки признала, что в авторе заметно воображение и способность писать хорошие стихи. Но самолюбие Гоголя границ и тогда уже не имело, и этой суровой расправой со своей книгой он спасал себя от неприятных намеков и напоминаний в будущем. Действительно, так как идиллия была написана и напечатана в большом секрете от всех, даже близких друзей, и так как с книжного рынка она исчезла, то уязвленный автор мог без опасений забыть о ней – что он и сделал.

Но эта неудача, довольно обычная в жизни начинающих писателей, произвела в первую минуту на Гоголя самое тягостное впечатление и очень своеобразно отразилась на его жизни.

Наш писатель вдруг, совсем неожиданно, решился покинуть Россию. Это было одно из тех мгновенных решений, одна из тех выходов, на какие часто бывают способны нервные натуры. Смятение духа в Гоголе было сильное, и оно ясно выразилось в любопытном письме, которое он написал матери, извещая ее о своем внезапном отъезде за границу. В письме рядом с явной ложью были и искренние строки, очень ценные.

«Я чувствую налегшую на меня справедливым наказанием тяжкую десницу Всемогущего! – писал Гоголь. – Безумный! Я хотел было противиться этим вечно неумолкаемым желаниям души, которые один Бог вдвинул в меня, претворив меня в жажду, ненасытимую бездейственной рассеянностью света. Он указал мне путь в землю чуждую, чтобы я там воспитал свои страсти в тишине, в уединении, в шуме вечного труда и деятельности, чтобы я сам по нескольким ступеням поднялся на высшую, откуда бы был в состоянии рассеять благо и работать на пользу мира. И я осмелился откинуть эти Божественные помыслы и пресмыкаться в столице здешней между сими служащими, издерживающими жизнь так бесплодно. Пресмыкаться дру-

гое дело там, где каждая минута жизни не утрачивается даром, где каждая минута – богатый запас опытов и знаний; но изжить там век, где не представляется совершенно впереди ничего, где все лета, проводимые в ничтожных занятиях, будут тяжким упреком звучать душе, – это убийственно!»

«Я решил служить здесь во что бы ни стало; но Богу не было угодно. Везде совершенно я встречал одни неудачи и, что всего страннее, там, где их вовсе нельзя было ожидать».

Гоголь рассказывал в этом письме дальше, что с ним случилось великое несчастье: он влюбился до безумия; все в мире стало для него чуждо, адская тоска со всевозможными муками закипала в его душе; он в порыве бешенства кипел упиться одним только взглядом и потому сознал необходимость бежать от самого себя.

Вся эта пламенная исповедь была, однако, чистой выдумкой; после тщательной проверки всего биографического материала оказывается, что никакой такой дамы не было, которая так неожиданно погнала бы Гоголя из Петербурга. Он просто подыскивал правдоподобный мотив, который мог бы в глазах матери объяснить его странное поспешное бегство из России.

«Не огорчайтесь, добрая, несравненная маменька! – продолжал он в том же письме. – Этот перелом для меня необходим. Это училище непременно образует меня: я имею дурной характер, испорченный и избалованный нрав (в этом признаюсь я от чистого сердца); лень и безжизненное для меня здесь пребывание непременно упрочили бы мне их навек. Нет, мне нужно переделать себя, переродиться, оживиться новой жизнью, расцвести силою души в вечном труде и деятельности, и если я не могу быть счастлив (нет, я никогда не буду счастлив для себя: это божественное существо вырвало покой из груди моей и удалилось от меня) – по крайней мере, всю жизнь посвящу для счастья и блага себе подобных»¹⁴.

Все эти восторженные обещания для нас не новость, мы встречали их еще в письмах лицеиста и должны признать их и в данном случае не за рисовку, а лишь за неумелое выражение искреннего порыва восторженной души, все еще не утратившей веры в возможность работать на «благо» и «счастье» ближнего.

Врожденная сентиментальность и восторженность, не убитая петербургской прозой, а лишь обманутая и раздраженная, она-то и заставила нашего мечтателя бежать в чужие края, искать за границей России желанного совпадения мечты и действительности; бежать без оглядки на последние деньги, унося с собой все-таки надежду совершить нечто «полезное». Это неудержимое влечение вдаль, которое Гоголь подметил в себе самом еще тогда, когда вручил своему Ганцу Кюхельгартену страннический посох, эта надежда найти за пределами России разгадку тех вопросов, на которые его наводила жизнь, остались навсегда характерными чертами его психической организации. Он в трудные минуты всегда будет помышлять о бегстве.

Такой попыткой бежать от призраков, обступивших его душу, и была его первая поездка за границу. Приблизительно в этом же смысле истолковывал эту поездку и сам автор, когда много лет спустя писал в своей «Авторской исповеди»: «Я никогда не имел влечения или страсти к чужим краям, я не имел также того безотчетного любопытства, которым бывает снедаем юноша, жадный впечатлений. Но, странное дело, даже в детстве, даже во время школьного ученья, даже в то время, когда я помышлял только об одной службе, а не о писательстве, мне всегда казалось, что в жизни моей мне предстоит какое-то большое самопожертвование и что именно для службы моей отчизне я должен буду воспитаться где-то вдали от нее. Я не знал, ни как это будет, ни почему это нужно; я даже не задумывался об этом, но видел самого себя так живо в какой-то чужой земле тоскующим по своей отчизне; картина эта так часто меня преследовала, что я чувствовал от нее грусть. Как бы то ни было, но это противувольное мне самому влечение было так сильно, что не прошло пяти месяцев по прибытии моем в Петербург, как я

¹⁴ Письма Н. В. Гоголя. Т. I, с. 123, 129.

сел уже на корабль, не будучи в силах противиться чувству, мне самому непонятному. Проект и цель моего путешествия были очень неясны. Я знал только то, что еду вовсе не затем, чтобы наслаждаться чужими краями, но скорее, чтобы натерпеться, точно как бы предчувствовал, что узнаю цену России только вне России и добуду любовь к ней вдали от нее»¹⁵.

Всех этих мыслей о России у Гоголя в 1829 году, конечно, не было; они сложились и приняли такой настойчивый характер позднее, но надежда на то, что вдали ждет что-то, что обещает и прояснение мысли, и успокоение взволнованного чувства, эта надежда могла в душе Гоголя зародиться и в очень ранние годы.

Гоголь пробыл за границей всего лишь три месяца и поспешно вернулся обратно. Как можно судить по некоторым весьма немногочисленным письмам, состояние его духа за этот срок времени было очень смутное. Его охватило знакомое нам непонятное волнение, которое выражалось теперь в сетованиях на Бога, зачем Он, создав такое единственное или, по крайней мере, редкое в мире сердце, как его, создав такую душу, пламенеющую жаркой любовью ко всему высокому и прекрасному, облек ее в такую грубую оболочку? Гоголь, как будто угадывая, что о нем будет говорить потомство, спрашивал Бога, зачем он допустил в его душе такую страшную смесь противоречий, упрямства, дерзкой самонадеянности и самого униженного смирения?

Но смена впечатлений все-таки свое дело сделала. Новая обстановка и новые люди заинтересовали Гоголя, и он в письмах своих к матери очень подробно и спокойно рассказывал о том, что ему пришлось видеть нового в Любеке и Гамбурге, двух городах, дальше которых он и не поехал. Впрочем, мечта и в данном случае значительно опередила действительность. Он ожидал от чужих стран большего. Он думал, что любопытство его будет разгораться постепенно. «Ничего не бывало. Я въехал (в Любек) так, как бы в давно знакомую деревню, которую привык видеть часто. Никакого особенного волнения не испытал я». Но в этом отсутствии волнения, быть может, и заключался самый осязательный и благотворный результат путешествия. Гоголь сам это чувствовал, когда писал матери, что теперь он в силах занять в Петербурге предлагаемую должность, что новые занятия дадут силу его душе быть равнодушнее и невнимательнее к мирским горечам. Наш странник, по-видимому, настолько успокоился, что был даже в состоянии довольно трезво обсудить свой собственный поступок. «Вот вам мое признание, – писал он матери по поводу своей первой поездки, – одни только гордые помыслы юности, проистекавшие, однако ж, из чистого источника, из одного только пламенного желания быть полезным, не будучи умеряемы благоразумием, завлекли меня слишком далеко»¹⁶. Тот же трезвый тон слышится и через месяц, когда Гоголь уже решил поскорей вернуться восвояси. «В скором времени я надеюсь определиться на службу, – писал он матери. – Тогда с обновленными силами примусь за труд и посвящу ему всю жизнь свою. Может быть, Богу будет угодно даровать мне возможность загладить со временем мой безрассудный поступок»¹⁷.

Он и загладил его очень скоро, возвратясь в Петербург и поступив в первых месяцах 1830 года на службу в департамент уделов.

Этот год и два за ним следующих – эпоха знаменательная в жизни Гоголя: это годы создания его «Вечеров на хуторе», с которых началась его литературная слава, и вместе с тем первые годы сознательной выработки в себе художника под непосредственным влиянием Жуковского и Пушкина, с которыми Гоголь в это время познакомился и очень быстро сошелся.

За исключением этих знакомств, круг которых постепенно расширялся, во внешней жизни Гоголя никаких особых перемен не произошло. Он служил на маленьком месте, жалованье получал весьма скромное, порой нуждался и на эту нужду жаловался. Свои финансовые

¹⁵ Сочинения Гоголя. 10-е изд. 1889. Т. IV, с. 260.

¹⁶ Письма Н. В. Гоголя. Т. I, с. 136.

¹⁷ Письма Н. В. Гоголя. Т. I, с. 138.

недочеты пополнял частью заказной литературной работой, отчасти уроками и гувернерством. Во всяком случае, серая и прозаическая сторона жизни была для него ощутима не меньше, чем прежде, и, быть может, она давала себя чувствовать еще сильнее теперь, когда в обществе Жуковского и Пушкина разгорался в Гоголе энтузиазм художника и мир художественной мечты приобретал для него особую прелесть.

Одним из способов смягчить тяготу прозаической жизни была и работа над малороссийскими повестями и сказками, из которых потом составились «Вечера на хуторе». Эти повести, с одной стороны, должны были принести материальную пользу, с другой – дать писателю возможность позабыться в мечтах.

Писались эти рассказы довольно долго – целых три года, с 1829 по 1831 год – и автор, созидавая их, на первых порах менее всего думал об их литературной ценности: он не угадывал их силы и значения и говорил о них совсем не так, как художник говорит о своем любимом творении.

«Теперь, почтеннейшая маменька, теперь вас прошу сделать для меня величайшее из одолжений, – пишет он матери в 1829 году, – Вы много знаете обычаи и нравы малороссиян наших и потому вы не откажетесь сообщать мне их в нашей переписке. Это мне очень, очень нужно... Я ожидаю от вас описания полного наряда сельского дьячка, от верхнего платья до самых сапог, с поименованием, как это все называлось у самых закоренелых, самых древних, самых наименее переменившихся малороссиян... Еще обстоятельное описание свадьбы, не упуская ни малейших подробностей... Еще несколько слов о колядках, об Иване Купале, о русалках. Если есть, кроме того, какие-либо духи или домовые, то о них подробнее, с их названиями и делами. Множество носится между простым народом поверий, страшных сказаний, преданий, разных анекдотов и проч. Все это будет для меня чрезвычайно занимательно... Еще прошу вас выслать мне две папенькины малороссийские комедии: „Овца-собака“ и „Романа с Пароскою“. Здесь так занимает всех все малороссийское, что я постараюсь попробовать, нельзя ли одну из них поставить на здешний театр. За это, по крайней мере, достался бы мне хотя небольшой сбор; а по моему мнению, ничего не должно пренебрегать, на все нужно обращать внимание. Если в одном неудача, можно прибегнуть к другому, в другом – к третьему и так далее»¹⁸.

И Гоголь неоднократно повторяет такие просьбы в своих письмах. Его «отдохновение», под которым он подразумевал свою писательскую работу, должно ему вскорости принести существенную пользу¹⁹. Он просит мать собирать ему сведения об играх (карточных), о хороших песнях, а главное, рассказываемые простолюдинами поверья, в которых участвуют духи и нечистые. Гоголь так занят этим собиранием материала, что он не забывает о нем даже во время пребывания своего за границей; накануне отъезда за границу он извещает мать, что в тиши уединения он «готовит запас», который не хочет выпустить в свет, пока порядочно не обработает. У него мелькает даже мысль издать весь этот «запас» на иностранном языке. Не успел он вернуться из-за границы, как опять просит собирать для него всякие древние монеты и редкости, старопечатные книги, другие «антики»; он хочет прислужиться этим одному вельможе, от которого зависит улучшение его участи. Ему очень хотелось бы иметь старые записки, веденные предками какой-нибудь фамилии, стародавние рукописи про времена гетманщины... «Это составляет мой хлеб», – пишет он матери.

Размер и содержание труда или «запаса», над которым Гоголь работал, недостаточно ясно определяются всеми этими указаниями. Легко может быть, что он имел в виду написать обширное этнографическое и историческое исследование о Малороссии: на это указывает, например, его желание издать свой труд на иностранном языке, который едва ли был пригоден для того,

¹⁸ Письма Н. В. Гоголя. Т. I, с. 119–121.

¹⁹ Письма Н. В. Гоголя. Т. I, с. 122.

чтобы на нем писать повести. Мы знаем также, что мысль о широком плане исторического труда и позднее очень долго занимала Гоголя. Во всяком случае, можно предположить, что чисто художественная обработка собранного им материала была не единственная, которую он имел в виду, когда говорил о своих литературных планах.

Первая часть «Вечеров на хуторе близ Диканьки» вышла в свет в середине 1831 года, а через год была издана вторая. Литературная репутация Гоголя была сразу твердо установлена; его талант был признан и оценен по достоинству и самым авторитетным литературным трибуналом, и кругом самой простой читающей публики.

Ученические годы Гоголя окончились.

* * *

В психической жизни художника за эти годы, как мы видели, много туманного и труднообъяснимого. Удивительное чередование веселости и глубокой меланхолии с перевесом последней; необычайно живо работающая фантазия и рядом с ней ум очень зоркий; романтическое тяготение к неизведанному и неиспытанному, большая склонность к размышлению и к анализу своих собственных ощущений и мыслей, самолюбие, сильно развитое и очень близко подходящее к сомнению; уверенность в своих силах, пока еще не испробованных; смутное представление о призвании к чему-то великому, но пока неизвестному; взгляд на этот грядущий подвиг, как на нечто весьма для людей полезное и спасительное, а потому и сознание своего права строго судить людей; наконец, великий дар художественного творчества – вот те мысли, ощущения, настроения и силы, которые владеют Гоголем одновременно.

Со всеми этими психическими факторами его жизни мы будем встречаться и позже, и они будут проявляться в своеобразном, иногда весьма странном виде. Но теперь, когда Гоголь стал автором «Вечеров на хуторе», мы должны на время оборвать рассказ о его жизни, чтобы перейти к историко-литературной оценке его первого художественного произведения. Обзор главнейших литературных явлений конца 20-х и начала 30-х годов облегчит нам эту оценку.

III

Критическая мысль 20-х и 30-х годов, недовольная старыми литературными традициями. – Требование народного и самобытного творчества. – Мнения, высказанные по этому вопросу Кюхельбекером, Бестужевым, Сомовым, князем Вяземским, Веневитиновым, Киреевским, Полевым и Надеждиным.

Годы, когда «Вечера на хуторе» создались и увидели свет, были в истории нашего словесного творчества годами переходными: старые литературные традиции падали, подорванные и обесцененные, а «новое», которое должно было заступить их место, еще недостаточно окрепло и утвердилось. В критике шел нескончаемый и придиричивый спор об этом «новом и старом», о заимствованном и народном, спор о стариках, которым пора перестать поклоняться, и о современниках, которые обещают много, но пока еще так мало сделали.

В истории литературы, как и в иных областях жизни, существуют, действительно, свои переходные критические эпохи. Долго царствовавшая традиция – традиция и содержания, и формы – начинает уступать под напором новизны, и эта новизна, еще не систематизированная, не объясненная критически, но сильная сознанием своей житейской правды, начинает требовать для себя признания и почета, который, конечно, ей приходится брать с боя. Проводники этого «нового», в чем бы оно ни сказывалось, в идеях ли, в чувствах, в их ли художественном выражении, или в ином каком-либо способе их проведения в жизнь, – бывают всегда слишком прямолинейны и увлечены, чтобы быть справедливыми; им всегда кажется, что новое должно начинать собой новую эру, тогда как на самом деле оно только видоизменяет старую, им кажется, что оно есть нечто само по себе существующее, а вовсе не обусловленное тем, с чем оно так задорно воюет. Смерть традиций – таков общий смысл всех революционных переходных эпох, и забвение, что покойник был некогда живым человеком и в жизни свое дело сделал, – одна из характерных черт в психологии всех, кто торжествующему новому пролагает дорогу. Жаль только, что смерть старого не сразу обозначает торжество нового, а всего чаще разрешается в состояние двойственное, неопределенное, обильное всякого рода несправедливостями. Такой период неопределенности и неустойчивости во вкусах, настроениях и суждениях, такой период не всегда справедливых нападков на старое переживала наша словесность в конце 20-х и в начале 30-х годов, когда к старому в искусстве читатели стали охладевать, новое предчувствовали, но никак еще не могли договориться и условиться, в чем именно должны заключаться его характерные признаки.

Что, однако, должны мы понимать под этим словом «старое», когда говорим о литературных течениях того времени?

Обыкновенно под этим словом разумеют традицию старого классицизма, некогда столь могущественную у нас и, бесспорно, отражавшую недавнюю правду своего времени – времени внешнего лоска, эксплуатации чужих мыслей, насильно привитых чувств и готовых, напрокат взятых, форм и оборотов речи. Но что осталось от этих классических традиций к 30-м годам? Мы этого покойника давно снесли в могилу и даже забыли дорогу к ней. Достаточно перелистать журналы того времени, чтобы увидеть, как редко мы тревожили тогда прах старых писателей XVIII века. Если кого из них мы тогда вспоминали, то разве тех, которые – как, например, Фонвизин или Державин – сумели отстоять свою самостоятельность вопреки господствующему литературному шаблону.

К писателям современным, придерживавшимся старых литературных форм и не переступившим за черту этого, совсем истрепанного, мнимоклассического мирозерцания, относились мы тогда также очень равнодушно. Кто, в самом деле, принимал тогда близко к сердцу писания и творения Василия Пушкина, Владимира Панаева, Михаила Дмитриева и других? Для более рьяных критиков эти писатели служили удобной мишенью, стреляя в которую трудно было промахнуться, для менее зазорных они просто не существовали. Во всяком случае, старый классицизм как литературная традиция и форма был в 30-х годах стариной совсем отпетой. Он никого не стеснял своим присутствием, и не с ним должна была сводить счеты та новизна, которая уже давала себя чувствовать.

Начинал умирать и другой классицизм, более молодой годами и более живой по темпераменту – классицизм, который в начале 20-х годов пользовался большим почетом у молодого поколения. Это был классицизм не чистой пробы, так как в нем была большая примесь совсем модного сентиментализма, а иногда и либерализма; но он все-таки сохранял классическую внешность и старался подделаться под тон Анакреонта, Тибулла, Горация и Овидия или – когда был более серьезен – под тон Тацита, Ювенала и других сатириков; некогда подогретый симпатиями всей пушкинской плеяды, он имел широкий круг поклонников; к 30-м годам он растерял их всех и влачил жалкое существование на страницах каких-нибудь второстепенных альманахов. Свое дело он сделал: не так давно дал ряд красивых образов и готовых мотивов для прославления кипучей молодости и связанного с ней свободомыслия, теперь и он вырожден в настоящий реестр шаблонных фраз и слов, которые пошли гулять по рукам разных бездарных переделывателей чужих песен.

Если, таким образом, подновленное античное в разных его видах совсем отходило в прошлое, то можно было думать, что те литературные направления, которые более всего способствовали гибели этого классицизма, а именно – сентиментализм и романтизм, – сохранят свою власть над нами. Действительно, эти западные направления, пущенные у нас в оборот Карамзиным, Жуковским и отчасти Пушкиным и его друзьями, имели в 20-х годах на своей стороне симпатии почти всей читающей публики. Не было писателя, который не заплатил бы своей дани Оссиану, Скотту, Муру, Байрону, Шиллеру, Гёте, Шатобриану – вообще всем западным авторитетам, который не пожелал бы так или иначе пересадить их красоты на русскую почву или на их лад переделать русские сюжеты.

Попытки такого пересаживания сентиментализма и романтизма оказали нашей литературе и обществу немалую услугу: они пустили в оборот много новых для нас чувств и настроений, не говоря уже о том, что они много способствовали утончению нашего эстетического вкуса. Они служили также лучшими проводниками западных идей и вообще ускорили наше духовное общение с культурным миром. Все говорило в пользу того, что влияние этих двух литературных направлений, и сентиментализма, и романтизма, будет весьма продолжительно, что мы нескоро исчерпаем их содержание и нескоро пресытимся ими, но, несмотря на то, что мы, действительно, не исчерпали их содержания, а лишь поверхностно усвоили их, наша критика тем не менее стала очень скоро этими настроениями тяготиться и готова была и их отчислить в разряд «старого», которое должно уступить место новому. В 30-х годах к сентиментализму критика совсем охладела, Карамзин с его школой отошли для нее в прошлое, Жуковского она не переставала уважать, но увлекалась им сдержанно (да и сам он стал писать мало), на немецкий бурный романтизм и на байронизм, недавно столь головокружительный, стала смотреть косо, и если что еще сохраняло тогда для нее свое обаяние, так это были общемировые памятники литературы, как, например, поэмы Гомера, драмы Шекспира, поэма Мильтона, романы Гёте и его «Фауст», наконец, исторические романы Вальтера Скотта, т. е. продолжало нравиться то, что стояло вне всяких литературных школ и тенденций...

Наша критическая мысль опередила, таким образом, в эти годы значительно нашу художественную словесность, которая, за весьма редкими исключениями, по-прежнему продол-

жала следовать традициям сентиментальным и романтическим. У критики была одна мысль, одно желание, которое она высказывала очень определенно и резко, – это было желание иметь национальную, самобытную литературу, черпающую свое содержание и свою форму из русской народной жизни. Желание было вполне законное, указывающее на сознательное отношение критической мысли к недочетам текущей словесности; но вместе с тем это было желание трудноисполнимое, так как национальное и самобытное в нашей литературе в те годы еще совсем не окрепло, и мы переживали тогда именно переходный период смещения иноземного с русским, период борьбы подражания с самобытным, период отрицания этого подражания без возможности заменить его сразу полетом вполне оригинальной фантазии. Как и следовало ожидать, критика была невосдержанна и несправедлива в своих нападках на недавних кумиров, была непоследовательна в их осуждении и, наконец, была не совсем ясна в своих требованиях «нового», которое она определяла одним словом – «народность», пытаясь, но почти всегда безуспешно, выяснить, в чем именно должен заключаться смысл этого таинственного слова.

Как бы то ни было, но в начале 30-х годов, когда Гоголь выступал со своими первыми произведениями, все прежние литературные традиции, и классические, и сентиментальные, и романтические, были уже значительно подорваны критикой, и для огромного большинства литературных судей была ясна необходимость иметь нечто свое, столь же совершенное и народное, как то, чему эти критики поклонялись на Западе. Что касается самой литературы, то, как мы сказали, она плохо отвечала на эти требования критики и никак не могла взять верного самобытного тона в разработке сюжетов. Попытки в этом направлении, конечно, делались иной раз – как увидим – даже успешные, но сколько было писателей, которые пребывали все еще в разных ученических классах, где писали не с натуры, а с образцов и моделей. Случалось иногда, что одно и то же лицо было и критиком, и художником, и тогда, как, например, у Полевого, Марлинского, Кюхельбекера – получалось странное противоречие между тем, что творил писатель, и тем, что он думал о творчестве. Как художник он оставался рабом традиции западной, как критик он продолжал распинаться за народность.

Прислушаемся же к некоторым голосам из этого лагеря критиков, и тогда борьба между старым и новым, спор заимствованного с самобытным и надежды, возлагаемые на «народность», обрисуются перед нами очень ясно. Нам необходимо подробно ознакомиться с этими критическими взглядами, чтобы не возвращаться к их изложению, когда их суду подпадут произведения Гоголя.

* * *

Еще в середине 20-х годов, т. е. в самый разгар подражания иноземным образцам сентиментального и романтического типа, некоторые, еще очень молодые, писатели стали определенно требовать народных, самобытных сюжетов и национальных приемов в творчестве.

Из них наиболее характерные, в то время достаточно популярные, но затем быстро забытые критики, были: Кюхельбекер – один из редакторов альманаха «Мнемозина», Александр Бестужев – редактор альманаха «Полярная звезда», Веневитинов – член редакции «Московского вестника», Сомов – литературный обозреватель и князь Вяземский – член редакции «Московского телеграфа».

В 1824 году была в «Мнемозине» напечатана статья Кюхельбекера «О направлении нашей поэзии, особенно лирической в последнее десятилетие»²⁰. В этой статье автор резюмировал свои мысли, рассеянные в разных мелких критических заметках, которые, начиная с 1820 года, он печатал в периодических журналах. Критик произносил очень суровое осуждение господствующему в русской литературе направлению. Он осуждал наших поэтов за тот

²⁰ Мнемозина. Т. II, с. 29–44.

печальный минорный тон, который преобладал в их стихотворениях. Неистовая печаль не есть поэзия, говорил он, а бешенство. Скучно слушать разных Иванов да Федоров, которые нам поют про свои несчастья. А кто отучил нас понимать радость жизни и на нее откликаться? Это грех Жуковского, который стал подражать новейшим немцам, преимущественно Шиллеру, и грех Батюшкова, который взял себе за образец двух пигмеев французской словесности – Парни и Мильвуа. Но больше всех виновата поэзия романтиков. Хороша была эта романтическая поэзия в Провансе и у Данте, в свое время; но теперь, что от нее осталось? Один Гёте, пожалуй, удовлетворяет в некоторых из своих произведений ее требованиям, об остальных поэтах говорить не стоит; они почти все подражатели, а наша русская романтика есть подражание – подражанию. Сила? Где мы найдем ее в большей части наших мутных, ничего не определяющих, изнеженных, бесцветных произведений? Богатство и разнообразие? Прочитайте любую элегию Жуковского, Пушкина или Баратынского, знаешь все. Чувств у нас уже давно нет: чувство уныния поглотило все прочие. Чайльд-Гарольды нас одолели, и отчего все это? Оттого, что мы не решаемся быть самобытными. Из богатого и мощного русского слова мы извлекаем небольшой, благопристойный, приторный, искусственно-тощий, приспособленный для немногих язык... Печатью народности ознаменованы всего лишь какие-нибудь 80 стихов в «Светлане» и в «Послании к Воейкову» Жуковского, некоторые мелкие стихотворения Катенина, два или три места в «Руслане и Людмиле» Пушкина. Будем благодарны Жуковскому за то, что он освободил нас из-под ига французской словесности, от Лагарпа и Батте, но не позволим ни ему, ни кому другому наложить на нас оковы немецкого или английского владычества. Всего лучше иметь поэзию народную, но уж если подражать, то надо знать кому, а у нас художественный вкус настолько неразвит, что мы не отличаем поэтов. Мы одинаково ценим великого Гёте и недозревшего Шиллера, огромного Шекспира и однообразного Байрона... Мы благоговеем перед всяким немцем или англичанином. Не довольны присвоить сокровища иноплеменников! Да создастся для славы России поэзия истинно русская! Да будет святая Русь не только в гражданском, но и в нравственном мире первой державой во вселенной! Вера праотцев, нравы отечественности, летописи, песни и сказания народные – лучшие, чистейшие, вернейшие источники для нашей словесности. Станем надеяться, что наши писатели сбросят с себя поносные цепи немецкие и захотят быть русскими.

Статья Кюхельбекера – одного из самых закоренелых подражателей в своем собственном творчестве – явление очень характерное; это – прямое порицание всему иноземному в нашей словесности, даже тому, которое, как поэзия Шиллера или байронизм, пользовалось тогда огромной популярностью. Кюхельбекер недоволен унынием, т. е. одной из отличительных и сильных сторон тогдашнего романтизма; он давно отрекся от классических традиций и требует теперь отречения от западного сентиментализма и романтизма во имя «народности», наступление которой он предчувствует, но на готовых примерах доказать и проверить не может.

В этом же смысле высказывался и его сверстник Александр Бестужев – знаменитый впоследствии Марлинский – в своих критических обзорах текущей русской литературы, которые он печатал в «Полярной звезде».

В статье «Взгляд на старую и новую словесность в России»²¹ Бестужев, не желая, как издатель альманаха, ссориться с писателями, наговорил кучу любезностей каждому из них без различия школ и направлений. Исполнив этот акт приличия, он очень вежливо стал распространяться о причине падения нашей литературы (совсем непонятного «падения» после тех комплиментов, которыми он осыпал решительно всех писателей). Он усмотрел ее в изгнании родного языка из общества и в равнодушии прекрасного пола (?) ко всему, что на этом языке пишется. «Утешимся, – говорил он, однако. – Вкус публики, как подземный ключ, стремится

²¹ Полярная звезда, 1823.

к вышине, и время невидимо сеет просвещение». В этих словах высказан только намек на то, что два года спустя с большей силой было сказано в том же альманахе – но уже ставшем на ноги и завоевавшем симпатии публики и писателей.

«Мы воспитаны иноземцами, – писал Бестужев в статье „Взгляд на русскую словесность в течение 1824 и начале 1825 года“²², – мы всосали с молоком безнародность и удивление только к чужому. Измеряя свои произведения исполинской мерой чужих гениев, нам свысока видится своя малость еще меньшей, и это чувство, не согретое народной гордостью, вместо того, чтобы возбудить рвение сотворить то, чего у нас нет, старается унижить даже и то, что есть. К довершению несчастья мы выросли на одной французской литературе, вовсе не сходной с нравом русского народа, ни с духом русского языка... Чтобы все выразить, надо все чувствовать; но разве не надобно всего чувствовать, чтобы все понимать? А мы слишком бесстрастны и слишком ленивы и не довольно просвещены, чтобы и в чужих авторах видеть все высокое, оценить все великое».

Заметив мимоходом, что мы начинаем уже чувствовать и мыслить, но пока еще ошупью, Бестужев выясняет значение критики у нас вообще, и после целого обвинительного акта против прозаичности нашей жизни, против безлюдья и ничтожества он подробно останавливается на том, что более всего лежит у него на сердце, – именно на вопросе о «подражании». «Нас одолела страсть к подражанию, – пишет он, – было время, что мы невпопад вздыхали постерновски, потом любезничали по-французски, теперь залетели в тридевятую даль по-немецки. Когда же попадем мы в свою колею? Когда будем писать прямо по-русски? Бог весть! До сих пор, по крайней мере, наша муза остается невестой-невидимкой. Конечно, можно утешиться тем, что мало потери – так и сяк пишут сотни чужестранных и междоусобных подражателей; но я говорю для людей с талантом, которые позволяют себя водить на помочах. Оглядываясь назад, можно век назад остаться, ибо время с каждой минутой разводит нас с образцами. Притом, все образцовые дарования носят на себе отпечаток не только народа, но века и места, где жили они, – следовательно, подражать им рабски в других обстоятельствах невозможно и неуместно. Творения знаменитых писателей должны быть только мерой достоинства наших творений...»

Рассуждать так было, конечно, нетрудно, и критик знал, что теоретически он совершенно прав, что лучше иметь свое, чем подражать чужому. Но художнику эти замечания критика, при всей их убедительности, приносили мало пользы, так как заставить себя быть «народным» художнику было невозможно: все зависело от степени таланта, но и кроме таланта нужна была еще школа и опыт: наша же культурная жизнь была еще слишком молода, чтобы найти себе сразу оригинальную форму и самобытное отражение в искусстве. Даже те немногие талантливые натуры, как, например, Батюшков, Жуковский, Крылов и Грибоедов, даже они, при всей силе их дарования, не сразу и не всегда могли освободиться от иноземного влияния и русскую действительность изображали либо редко, как, например, Батюшков и Жуковский, либо не совсем по-русски, как, например, Крылов и Грибоедов. Когда же им удавалось взять верный самобытный тон, нарисовать правдивую русскую картину нравов, как это иногда делал Пушкин, то эта картина была так необычна, что критики сами не сразу научались ценить ее: так случилось, например, с «Евгением Онегиным».

Тем не менее критика продолжала твердить свое и требовать «народности». В 1823 году появилась маленькая книжечка О. Сомова, небезызвестного потом беллетриста; книжка была озаглавлена «О романтической поэзии»²³; на нее обратили мало внимания, но она его заслуживала. Сомов был из числа первых наших беллетристов, которые в своих рассказах старались разрабатывать материал народных сказаний и поверий в более или менее реальной форме, т. е.

²² Полярная звезда, 1825.

²³ Сомов О. О романтической поэзии. Опыт в трех статьях. СПб., 1823, с. 102.

стремились сохранить их колорит и наивность. Он принимал эту народность близко к сердцу и в своей книжке о романтизме поставил себе целью направить наше внимание на те богатства, которые кроются в нашей старине и которыми нужно воспользоваться именно в интересах «народного» нашего романтизма, а отнюдь не того подражательного, который ничего не дает для русского читателя.

Французская поэзия суха и холодна, говорил Сомов, и даже среди пресловутых французских классиков есть только один хороший – Парни. Мы делаем грубейшую ошибку, когда смешиваем классицизм французский с античным. Античный классицизм полон жизни, и природа его разнообразна – это классицизм «народный», «местный», согласный с нравами и миро-созерцанием той страны, в которой он родился; в этом вся его свежесть и прелесть, которая отсутствует во всех попытках воскресить его. У старых мастеров должно учиться, но подражать им не следует. Народной была и поэзия романтическая в те годы, когда она пришла на смену классической; народной не перестает она быть и в наши дни в тех странах, где она вытекла из жизни, где она развилась свободно. Словесность каждого народа есть говорящая картина его нравов, обычаев и образа жизни – вот почему тщетны все надежды возрастить самобытную литературу на почве подражания, и мы, русские, должны наконец иметь свою народную поэзию, в которой бы отразились отличительные черты характера нашей нации, как, например, твердость духа, безропотное повиновение законным властям, радушное гостеприимство и т. д. Сомов указывает затем на богатство нашей мифологии, на разнообразие нашей природы, на обилие всяких красот в нашей древней истории – все это затем, чтобы пристыдить нас и упрекнуть за то, что мы небрежно проходим мимо своих богатств, заглядываясь на чужие. Заимствование и подражание к добру нас не приведут: и без того в нашей словесности заметно целое наводнение унылыми элегиями; везде встречаешь унылые мечты, желание неизвестного, утомление жизнью. Все эти немцеобразные рапсодии противны живому и пылкому русскому народу. Он должен же наконец сказать свое слово, и мы можем надеяться: у нас есть таланты, много обещающие – таков юный Пушкин, в вымыслах, языке и выражении которого уже раскрываются черты народные.

Гораздо более сдержанно, хотя в этом же приблизительно духе, высказывался в 20-х годах и князь Вяземский в своих критических статьях.

Сдержанность его тона и некоторая недоговоренность в его суждениях о подражании и «народности» объясняются, во-первых, тем, что по своему воспитанию и образованию сам он был редким примером запоздавшего классика, и, во-вторых, тем, что он при широте своего литературного образования лучше, чем кто-либо, понимал, чем наша культура была обязана западным литературным течениям. Вяземский, в сущности, был скорее историк, чем критик; для настоящего критика у него не хватало темперамента, и слишком трезвый и холодный рассудок уберегал его от крайностей, которые в разгаре борьбы не всегда бывают лишними. Он был живой свидетель истории развития нашей словесности начиная с самых первых годов XIX века; для него наши классики и сентименталисты были совсем родные люди, как позднее для него родными стали и молодые романтики 20-х годов, в кругу которых он – старший годами – был принят на правах товарища. Резко судить о нашем классицизме и романтизме он не мог в силу его способности все понимать, во всем оттенять достоинство и на все смотреть спокойным и уравновешенным взглядом. Вот почему его критические статьи, собранные вместе, и поражают читателя некоторой неопределенностью в суждениях. Ласковое слово нашлось у него для всех: и для классиков XVIII века, и для сентименталистов Карамзина и Жуковского, и для классиков более новой формации, как, например, Озеров, наконец, и для романтиков. Он симпатизировал им всем, правильно измеряя историческую стоимость каждого; и никогда у него не повернулся бы язык сказать, что Карамзин устарел, что Дмитриев – плохая копия с плохих оригиналов или что Жуковский навредил нашей словесности слишком безотчетным преклонением перед немцами. Быть может, в душе Вяземский все это и чувствовал, но извест-

ная корректность XVIII века не позволяла ему в данном случае оттенить свою мысль как бы следовало. Впрочем, и ему иногда приходилось проговариваться, и он тогда говорил приблизительно то же, что и другие критики, но говорил как бы в скобках.

«О чем мы хлопочем, кого отстаиваем?» – говорит он по поводу разгоревшегося у нас спора между классиками и романтиками. «Имеем ли мы литературу отечественную, уже пустившую глубокие корни и ознаменованную многочисленными, превосходными плодами? До сей поры малое число хороших писателей успели только дать некоторый образ нашему языку; но образ литературы нашей еще не означился, не прорезался. Признаемся со смирением, но и с надеждою: есть язык русский, но нет еще словесности, достойного выражения народа могучего и мужественного»²⁴.

«Литература должна быть выражением характера и мнений народа», – пишет он в другой статье. «Судя по книгам, которые у нас печатаются, можно заключить, что у нас или нет литературы, или нет ни мнений, ни характера; но последнего предположения и допустить нельзя. Дайте нам авторов, пробудите благородную деятельность в людях мыслящих и – читатели роятся. Они готовы; многие из них и вслушиваются, но ничего от нас дослышаться на могут и обращаются поневоле к тем, кои не лепечут, а говорят. Беда в том, что писатели наши выпускают мало ходячих монет. Радуйтесь пока, что хотя иностранные сочинения находятся у нас в обращении; пользуясь ими, мы готовимся познавать цену и своих богатств, когда писатели наши будут бить, из отечественных руд, монету для народного обихода»²⁵.

В своей известной статье «Вместо предисловия к „Бахчисарайскому фонтану“. Разговор между издателем и классиком с Выборгской стороны или с Васильевского острова» (1824) князь Вяземский берет на себя боевую роль защитника новизны в литературе против старых традиций. В данном случае он под новизной разумел поэзию «романтическую». Вяземский стоит на той точке зрения, что всякая поэзия, не насажденная извне, а вырастающая органически на своей почве, среди своего народа – всегда поэзия самобытная, будь она классическая, как в древности, или романтическая, как в настоящее время в Европе. Народность в словесности заключена не в правилах, а в чувствах. «Отпечаток народности, местности – вот что составляет, может быть, главное существеннейшее достоинство древности и утверждает ее право на внимание потомства. Гомер, Гораций, Эсхил имеют гораздо более сродства и соотношения с главами романтической школы, чем со своими холодными рабскими последователями, кои силятся быть греками и римлянами задним числом». Отсюда, по-видимому, прямой вывод, что подражать вообще никому не следует, ни старым, ни новым, и что современная романтическая литература русская, которую Вяземский защищает, также есть попытка быть задним числом кем угодно, но только не самой собой. Вяземский это понимает, но принужден склониться перед необходимостью. Он признает, что мы, начиная с Ломоносова, все только подражали, но что делать, если пока нет своего? «Поэты, современники наши, – говорит он, – не более грешны поэтов-предшественников. Мы еще не имеем русского покроя в литературе; может быть, его и не будет, потому что его нет; но, во всяком случае, поэзия новейшая, так называемая романтическая, не менее нам сродна, чем поэзия Ломоносова или Хераскова, которую силятся выставить за классическую»²⁶.

Взгляды Вяземского на народность, как видим, в достаточной мере скептически. В его словах нет обычного тогда крика: долой иностранцев и да здравствует свое национальное; и эта сдержанность вполне понятна в нем – в человеке с весьма развитым и требовательным вкусом, большой литературной опытностью и вообще крайне осторожным умом. Но что сам Вяземский

²⁴ О «Кавказском пленнике», повести А. Пушкина – Полное собрание сочинений князя П. А. Вяземского. Т. I, с. 74–75.

²⁵ Замечание на краткое обозрение русской литературы 1822 года – Полное собрание сочинений князя П. А. Вяземского. Т. I, с. 103.

²⁶ Полное собрание сочинений князя П. А. Вяземского. Т. I, с. 169.

предпочитал национальное подражательному – в этом едва ли можно сомневаться; он только не хотел увеличивать собою круг тех лиц, которые в первых ростках самобытной словесности готовы были видеть уже осуществление своих ожиданий.

Полвека спустя, когда наша самобытная народная литература уже одержала победу над Европой, когда всякое подражание стало преданием, Вяземский в 1876 году сделал такую приписку к одной из своих старых критических статей²⁷, в которой он разбирал вопрос о романтизме и классицизме: «У нас не было средних веков, ни рыцарей, ни готических зданий с их сумраком и своеобразным отпечатком, – говорил он. – Греки и римляне, грех сказать, не тяготели над нами. Мы более слышали о них, чем водились с ними. Но романтическое движение, разумеется, увлекло и нас. Мы в подобных случаях очень легки на подъем. Тотчас образовались у нас два войска, два стана; классики и романтики доходили до чернильной драки. Всего забавнее было то, что налицо не было ни настоящих классиков, ни настоящих романтиков: были одни подставные и самозванцы. Грешный человек, увлекся и я тогда разлившимся и мутным потоком». Легко было так говорить о мутном потоке, когда он давно иссяк, но в 20-х годах, при желании иметь свое «собственное» и при отсутствии его, оставалось лишь кланяться направо и налево – и классикам, и романтикам, что Вяземский и делал, рассуждая вполне правильно, что писатели этих обоих направлений имели свои заслуги перед нашей культурой.

Если Вяземский был так осторожен, как третейский судья между «народностью» и подражанием, то молодой его современник – Веневитинов был в решении этого вопроса выразителем самого крайнего и очень оригинального взгляда. Веневитинов был одарен большим критическим чутьем, и то малое, что он успел сделать (а он умер двадцати двух лет), показывает, какую большую умственную силу мы в нем потеряли. Но он был преимущественно философ-метафизик и потому очень склонен к обобщениям. Мало углубляясь в факты, он предпочитал оперировать с самыми общими формулами. Такую общую формулу применил он и к вопросу о самобытности нашей духовной жизни, и к вопросу о том, как оградить нам себя от подражания. Мысли его заключены в маленькой статейке, в которой он обсуждал план затеянного им и его товарищами философского журнала.

«Какими силами подвигается Россия к цели просвещения? – спрашивал Веневитинов. – Какой степени достигла она в сравнении с другими народами на сем поприще, общем для всех? У всех народов самостоятельное просвещение развивалось из начала, так сказать, отечественного; их произведения, достигая даже некоторой степени совершенства и входя, следовательно, в состав всемирных приобретений ума, не теряли отличительного характера. Россия все получила извне; отсюда это чувство подражательности, которое самому таланту приносит в дар не удивление, но раболепство; отсюда совершенное отсутствие всякой свободы и истинной деятельности... мы воздвигли мнимое здание литературы без всякого основания, без всякого напряжения внутренней силы; мы, как будто предназначенные противоречить истории словесности, мы получили форму литературы прежде самой ее существенности. Вот положение наше в литературном мире – положение совершенно отрицательное. Что из того, что мода у нас держится недолго? Давно ли сбивчивые суждения французов о философии и искусствах почитались у нас законами? И где же следы их? Освобождение России от условных оков и от невежественной самоуверенности французов было бы торжеством ее, если бы оно было делом свободного рассудка; мы отбросили французские правила не оттого, что мы могли их опровергнуть какой-либо положительной системой; но потому только, что не могли применить их к некоторым произведениям новейших писателей, которыми невольно наслаждаемся. Таким образом, правила неверные заменились у нас отсутствием всяких правил. Язык поэзии обратился у нас в механизм, он сделался орудием бессилия, которое не может себе дать отчета в своих чувствах и потому чуждается определительного языка рассудка».

²⁷ О жизни и сочинениях В. А. Озерова – Полное собрание сочинений князя П. А. Вяземского. Т. I, с. 57.

«При сем нравственном положении России, одно только средство представляется тому, кто пользу ее изберет целью своих действий, – надобно бы совершенно остановить нынешний ход ее словесности и заставить ее более думать, нежели производить».

Средство, как видим, радикальное, перед неисполнимостью которого Веневитинов, однако, не останавливается. «Надлежало бы, – говорит он, – некоторым образом устранить Россию от нынешнего движения других народов, закрыть от взоров ее все маловажные происшествия в литературном мире, бесполезно развлекающие ее внимание, и, опираясь на твердые начала философии, представить ей полную картину развития ума человеческого, картину, в которой бы она видела свое собственное предназначение». Веневитинов рекомендует для этого одно средство – философский журнал, который заставит нас действовать собственным умом, устранив нас на время от настоящего и, главное, сделает нас самих предметом наших разысканий. «Россия нуждается в твердом основании изящных наук и найдет сие основание, сей залог своей самобытности, и, следовательно, своей нравственной свободы в литературе, в одной философии, которая заставит ее развить свои силы и образовать системы мышления»²⁸.

Можно, конечно, только улыбнуться, читая, как этот восторженный философ думал сразу остановить все развитие нашей словесности и начать его вновь сначала, заставив нашу мысль предварительно пройти строгий и полный курс философии, но значение слов Веневитинова от этого не убавится – они ясно указывают на то, как критическая мысль того времени опережала наше словесное творчество, как люди умные были недовольны опекой над нами иностранного, как, наконец, им хотелось иметь свою самобытную словесность, которая могла бы состязаться с западной. И все это писалось и говорилось в те годы, когда власть западных литературных течений достигала в нашем словесном творчестве своего апогея. Ничем в нашей литературе критика тогда не была довольна, и она была права не потому, что в творчестве Жуковского, Пушкина, Языкова, Баратынского и других не было ничего достойного восхваления, а потому, что то, что этими художниками было создано, обещало в дальнейшем оправдание самых смелых надежд. Читая Жуковского, Пушкина и иных, критик думал, как хорошо было бы, если бы эту силу употребить на разработку истинно народного сюжета и истинно самобытным способом.

В начале 30-х годов критика не менее настойчиво продолжала требовать все той же «народности», и мысли самых авторитетных критиков, при резком несогласии во многих вопросах, совпадали именно в этом – в желании иметь как можно скорее литературу, выросшую на русской почве, пропитанную русским духом и разрабатывающую русские сюжеты. В этом были согласны трое наиболее видных литературных судей начала 30-х годов – И. В. Киреевский, редактор журнала «Европеец», Н. А. Полевой, редактор «Московского телеграфа», и Н. И. Надеждин, редактор «Телескопа», – как видим, председатели всех главных литературных трибуналов того времени.

Взгляды Киреевского на назначение русской словесности тесно связаны с его общими историко-философскими взглядами. Знаменитый наш славянофил был в 30-х годах большим поклонником Запада. Он стоял, в интересах русского просвещения, за наше тесное общение с соседями. Ему хотелось, чтобы китайская стена, которая отделяет Россию от Запада, скорее рушилась. Образованность наша должна возвыситься, говорил он, до европейской степени, и наша обязанность содействовать этому. Существует один важнейший вопрос для всех образованных людей русских: это вопрос об отношении русского просвещения к просвещению остальной Европы; от его решения зависит вся совокупность наших мыслей о России, о будущей судьбе ее просвещения и о нашем настоящем положении.

Киреевский решает этот вопрос не в пользу тех лиц, которые говорят о просвещении национальном, которые не велят заимствовать и хотят возвратить нас к коренному и ста-

²⁸ Несколько мыслей в план журнала – Сочинения Д. В. Веневитинова. М., 1831. Т. II, с. 25–31.

ринно-русскому. Все благоденствие наше, думал Киреевский, зависит от нашего просвещения, а искать у нас национального значит искать необразованного; не имея достаточных элементов для внутреннего развития образованности, откуда возьмем мы его, если не из Европы? По-видимому, наш критик, оставаясь последовательным, должен был стать решительно в ряды сторонников всякого подражания, в том числе и литературного. Но мысль Киреевского нельзя понимать так просто. Он соглашается, что мы смешны, подражая иностранцам, но только потому, что подражаем неловко и не вполне. Когда наше сближение с Западом станет более тесным, тогда только и окажутся плодотворные последствия этого сближения. Утратить своей национальности нам бояться нечего: наша религия, наши исторические воспоминания, наше географическое положение, вся совокупность нашего быта столь отличны от остальной Европы, что нам физически невозможно сделаться ни французами, ни англичанами, ни немцами. «До сих пор национальность наша была национальность необразованная, грубая, китайски неподвижная. Просветить ее, возвысить, дать ей жизнь и силу развития может только влияние чужеземное; и так как до сих пор все просвещение наше заимствовано извне, так только извне можем мы заимствовать его и теперь, и до тех пор, покуда поравняемся с остальной Европой. Там, где *общеевропейское*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.